

Эдуард Дворкин  
Чужие причуды - 3

Свободный роман



Эдуард Дворкин

**Чужие причуды – 3.  
Свободный роман**

«Издательские решения»

**Дворкин Э.**

Чужие причуды – 3. Свободный роман / Э. Дворкин —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-968319-9

Старый Бог ничего более не мог из того, что мог ранее. Анне предстояло прожить жизнь заново: от слова до слова. Роскошное напряжение духа, какого еще не было на Земле, вот-вот должно было дать ощутить себя с непредсказуемыми последствиями.

ISBN 978-5-44-968319-9

© Дворкин Э.  
© Издательские решения

## Содержание

Книга первая. Игривый пилигрим	6
Часть первая	6
Глава первая. Входная дверь	6
Глава вторая. Фланеры и кокотки	6
Глава третья. Розовое лицо	7
Глава четвертая. По большей части	8
Глава пятая. Меткие слова	9
Глава шестая. Притча во языцех	10
Глава седьмая. Как мертвые	11
Глава восьмая. Вещи мужа	12
Глава девятая. Нагнал страх	12
Глава десятая. Проза жизни	13
Часть вторая	14
Глава первая. Бренное слово	14
Глава вторая. Новый кентавр	15
Глава третья. Осознанная необходимость	15
Глава четвертая. Настойчивые часы	16
Глава пятая. Вызов свету	17
Глава шестая. Священный голос	18
Глава седьмая. Божий дар	19
Конец ознакомительного фрагмента.	21

# Чужие причуды – 3 Свободный роман

Эдуард Дворкин

© Эдуард Дворкин, 2019

ISBN 978-5-4496-8319-9 (т. 3)

ISBN 978-5-4493-8043-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЦИКЛ РОМАНОВ: «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ВОСКРЕСЕНИЕ»

«Скажем прежде всего, что если дана память, то есть сохранение образов прошлого, эти образы будут постоянно примешиваться к нашему восприятию и могут даже вытеснить его».

*Анри БЕРГСОН. «МАТЕРИЯ И ПАМЯТЬ»*

«Есть два прошлых: прошлое, которое было и которое исчезло, и прошлое, которое и сейчас для нас есть как составная часть нашего настоящего».

*Н.А.БЕРДЯЕВ. «Я И МИР ОБЪЕКТОВ»*

«Теория изящного дает каждому возможность говорить, что на ум взбредет, называть свечу собакою, а луну пирогом – полная свобода!»

*В.Г.БЕЛИНСКИЙ. «РУКОВОДСТВО К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»*

ПОЯСНЕНИЕ АВТОРА. Речь далее идет не о том, что некая, заявленная в мире женщина якобы вызывает переживание как психический факт. Самая связь переживания с женщиной – сущностная, а не фактическая; отсылка к предмету заключена в самой сущности переживания.

## Книга первая. Игривый пилигрим

### Часть первая

#### Глава первая. Входная дверь

Все это несомненно было и разыгралось в целую историю.

Умы рабские искренно верили в эволюцию идей, питали туманные надежды на соответствующее изменение обстоятельств, с инстинктивным, почти физическим страхом думали о всякой революции. Они желали и боялись ее одновременно: они критиковали существующий строй и мечтали о новом, как будто он должен был появиться внезапно, вызванный каким-то чудом, без малейшей ломки и борьбы между грядущим и отжившим. Слабые, безвольные люди мечтали, не имея ни сил, ни желания достигнуть своей цели.

Задавались дни.

Досаждала жара, а когда жар стал посваливать, явились сулящие непогоду тучи.

Вкрадчивые осенние шорохи складывались в неведомые шуршащие слова.

Земля после дождя пахла *петрикором*, а нажимавшие пальцами на глазные яблоки видели *фосфены*. Кому-то являлся *парастас*, запросто подхватить можно было *трипеснец*.

Государь лишил автора остатков своего расположения: кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки: сработала интуиция.

Стрекулисты выказывали непонимание самых простых вещей, как-то: жизнь и сознание при интуиции имеют дело сами с собою; интеллект же характеризуется природным непониманием жизни.

Дамы из черного бархату понашивали себе бурнусов с огромными рукавами; бурнусы обшили толковой тесемкой со стеклярусом.

Яркие полевые цветы распустились в витрине мадам Матильды на Невском.

Ливрейные лакеи более не садились на козлы, а пристраивались на запятках и ехали позади, держась за басонные поручни.

Богатые вдовы обивали кареты черным; шоры были без набору.

Кучера сидели одною ногой наружу, приготавливаясь кричать на прохожих – в Петербурге местами была преужасная мостовая: из неровных камней, хуже что незабороненное поле.

Гащивать приезжали на несколько дней.

Все было необдуманно, с размаху, самодовольно и ретроградно.

Большая часть интеллигенции жила в мире фальшивом, населенном призраками, фантазмагорией, мнимыми влечениями, мнимыми потребностями, мнимыми идеалами и немнимым невежеством.

Натурализм заменился нисколько не менее уродующим действительность психологизмом: Анна входила у Толстого в уборную, но ни разу, в отличие от того же Вронского, не брала ванны!

Входная дверь оправлена была в баgreц и золото – моральная красота сей нелепости оправдывалась двумя словами: лес, Пушкин.

#### Глава вторая. Фланеры и кокотки

Бог мыслит вещами.

Убранство комнаты было ни зальное, ни гостиное, а то и другое вместе – стояли и мягкая мебель, и буковые стулья, и зеркало, и рояль заваленный нотами.

Александра Станиславовна протянула руку прощаться, она ласково прижалась к гостю, точно виноватая.

Она точно была виновата перед ним: она в него не верила.

Иван Матвеевич умел держать себя под выстрелами так же спокойно, как его товарищи; гражданская война в Боливии закончилась, и он в звании боливийского генерала возвратился на родину.

С тех пор она видела его довольно часто, но их отношения оставались чисто внешними; из Америки он привез ей затейливую вещицу.

«Предметик!» – тогда он называл, отчасти зараженный педантизмом.

Принужденно тогда она смеялась.

В прихожей он надел шинель на меху гуанако с седым, андского очкового медведя воротником.

– Выйти из одиночества и достигнуть блаженства! – теперь пожелали они друг другу.

Через минуту он был на улице: старомодный, устарелый, не принадлежавший своему поколению и своему времени.

Она хотела было раздеваться, но сняла только платье: лиф из крепдешина с золотыми шариками был низко вырезан на стане и на груди окаймлен белым рюшем, приятно оттенявшим розовато-белое тело нестарой женщины.

Иван Матвеевич, выйдя наружу, тут же слился с неясной мыслью, разлитой в мировом пространстве – а, может статься, ощутил готовность к слиянию.

В прихожей у Александры Станиславовны на ясеневом подзеркальнике заметил он визитную карточку Пушкина. Угол был загнут.

Фланеры и кокотки попадались все реже – отдавший дань молодости генерал давно распрощался с ее увлечениями; всем, повстречавшим его на пути, являлась ранее не приходившая в голову мысль, что борода, по сути своей, аналогична застывшей гримасе – искаженным, сдвинутым с мест и лишенным правильного соотношения чертам лица, а потому эта самая борода вполне тождественна маске.

Отставной боливийский генерал Иван Матвеевич Муравьев-Опоссум всегда был гладко выбрит.

Александра Станиславовна Шабельская, недавно овдовевшая, из потайного места достала привезенную генералом вещицу.

Негромкое приятное жужжание раздалось в ночи.

Покойный господин Шабельский не пользовался ни вышитыми вещами, ни предметами личной гигиены.

Он мог облиться слезами над вымыслом, и Александра Станиславовна предоставляла ему такую возможность.

### Глава третья. Розовое лицо

Его природная рассеянность, обвенчанная жестокими прелестями, рассыпалась серебряными блестками воспоминаний: среди разноцветных скал, бурливых речек, причудливо изогнутых какао-деревьев, там, он чувствовал себя причастным к жизни природы.

«Личная гиена!» – вспоминал он.

В Боливии бывало всякое.

Чепец из белых блонд будировал всех – кто-то забросил его за мельницу, а индейцы нашли: люди другие, обстоятельства и обстановка другие, другие вопросы, а дух тот же самый!

Орхидея, принявшая форму пчелы, желает сказать, что не нуждается в посещении насекомых: ему привиделось, что Александра Станиславовна приняла форму платья, в котором она находилась, – а если бы она натянула звериную шкуру?!

Ей было неловко в этом платье, она оправдывалась очень темно, заносчиво и истолковывала себя довольно бестолково.

«Зодчий – костистый дед, с лицом, искусанным пчелами, – обронила она среди прочего, – он бородат и у него пропали стены!»

*Бородат и пропали стены*, по мнению Александры Станиславовны, были однокоренные слова, и это вселяло беспокойство в отставного боливийского генерала.

Госпожа Шабельская распускала косу, еще довольно густую и темную, собираясь припрятать ее под ночной чепчик: еще пригодится!

Она видела: гость плохо слышит!

Когда она рассказывала о трагическом происшествии с мужем, Иван Матвеевич понимающе ей улыбался; с собою он привез терпкий дух далекого мистического континента, который Александру Станиславовну обволакивал.

Она сама не могла взять в толк, откуда взялись эти бородатые стены, хотя и была знакома с зодчим.

Синели окна – дым багровый?

Грохочут пушки?!

Визитная карточка Александра Сергеевича лежала с загнутым левым углом на ясеневом подзеркальнике в прихожей.

*На улице идет дождь, а у нас идет роман?!*

Муж Александры Станиславовны лежал на старом теннисном кладбище в Третьем Парголове.

«Пространственное извращение переживаний!» – она знала.

Действительный член Императорского Общества Овцеводства Павел Васильевич Шабельский хорошо смеялся, лицо его было розовое, хотя он был не совсем здоров.

Он совершал чудеса в корыте.

Устричная зала Елисеева была последняя школа, в которой он брал уроки общежития.

Его последнее слово прозвучало уже из иного порядка бытия.

## Глава четвертая. По большей части

Александра Станиславовна приняла форму орхидеи, и Иван Матвеевич почувствовал себя муравьем: она не нуждалась в его посещении, мягко давая об этом знать; Иван Матвеевич не внушал ей этой мысли – так откуда же, кто?!

«Мельник? – перебирал он. – Зодчий? Пасечник?»

Мельник и Пасечник были фамилии; фамилия зодчего была Зодченко: Михаил Михайлович Зодченко.

Это были однокоренные люди – их общий корень ветвился (ветвь не в силах постигнуть, что она – лишь продолжение корня) в сухих и легких почвах сельвы.

Когда застрелили Пушкина, Михаил Михайлович воздвиг мавзолей поэту на Дворцовой площади, и Мельник увенчал его вращающимися грандиозными крыльями, а Пасечник приучил пчел внутрь заносить мед.

В Боливии гиены заменяли им женщин; все трое барахтались во тьме низких истин; Иван же Матвеевич предпочитал *нас* возвышающий обман.

В столице, узнал он в Боливии (столице России, а не Боливии!), сделалось модным забрасывать чепцы за мавзолей – возвратившись на родину, генерал частенько подбирал их: не пахнет ли, часом, гиеной?!



В сумерках он надевал чепец на голову, и голова принимала форму чепца, наполняясь женскими мыслями: он думал о том, что можно быть дельным человеком и заботиться о красоте ногтей или о том, что неуважение к предкам есть первый признак беременности.

Беременность, впрочем, для него была только форма, в то время как красота ногтей для женщины была ее содержанием.

На балконе вдоль перил стояли цветы – уютность всему сообщила опущенная белая маркиза.

Кто, черт возьми, напишет генералу?!

Он полюбил слова за их возможное значение больше, чем за их действительный смысл.

На письменном столе под газетами обнаружилось письмо, перебитое штемпелями.

*«Восточный поезд ушел по тому направлению, откуда приехал западный, – писал ему некий Анна. – Их отдали под стражу до утра, ибо уже был вечер».*

В Боливии пассажиры часто разъезжались со своими вещами, но по большей части вещи находили своих владельцев по прошествии некоторого времени – утраченные же предметы не возвращались никогда.

Соскучившийся по всему русскому, зеркало Иван Матвеевич велел поставить *напротив*.

В зеркале он видел Пушкина – тот ждал его с завтраком.

*Тот по-немецки мертвый.*

В Боливии было много немцев.

Там генерал научился общаться с мертвыми.

## Глава пятая. Меткие слова

С мертвыми нужно общаться, как с живыми, только куда энергичнее.

Сразу генерал хлопнул поэта по плечу, сильно встряхнул руку, закричал в ухо.

Пушкин мог приехать рано утром, когда мавзолей был еще заперт; лакей приучен был ставить два прибора.

– Привычка свыше нам дана! – любил Александр Сергеевич повторять расхожее.

В привычку у него вошло обсуждать, как он выражался, *иной порядок бытия*, откуда он приносил обычно *в этот* меткие слова и выражения.

Иван Матвеевич знал, что там (не в Боливии) Пушкин много общался с Грибоедовым и скорее всего *слова о взрослой дочери* были от другого Александра Сергеевича.

Поставив на стол обычную баночку меда, Пушкин заговорил о Создателе и комиссии.

– Что за комиссия? – не понимал генерал. – Создатель?!

– Создатель комиссии, – Пушкин ел, пил, курил (в мавзолее он был на меде и воде), – Ленин, ее председатель Луначарский, в состав входит Крупская. Это комиссия Наркомпроса: тотальный надзор над культурой и религией!

– А взрослая дочь, как же? – Иван Матвеевич не давал Пушкину завалиться набок.

– Кричит *ура* и бросила чепчик за мавзолей, – поэт вздохнул. – Ей нравится! Дверь отперта для званных и незванных!

– Анна? – услышал Муравьев звон.

Однажды он подобрал чепчик с меткой «А.К.», и мысли под ним были как раз об отпертой двери: та отпиралась более, чем десять раз, и запер ее лишь граф Толстой.

– Горбатый нос верблюда! – вдруг Пушкин молвил.

Разговор прекратился.

Привычка от Пушкина – замена счастьем, счастием. Если же поэзия выше нравственности, то и поэт выше нравственного. Размышляя, Иван Матвеевич пытался связать обе мысли.

«Счастье выше счастья! – остановился он на промежуточном. – Пушкин-человек не мог быть счастлив. Пушкин-поэт – очень даже. А Пушкин-зверь?!»

Люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратно минувшее всеми цветами своего воображения: Анна был самый влиятельный член синедриона.

Этот человек умел внушать мысли: первовнушитель.

Минувшее возвратимо – исподволь он внушал.

Единственный он умел извлекать корень.

Он сам был продолжение корня: Коренев.

Его черты были сдвинуты с мест и лишены правильного соотношения, а борода была тождественна маске.

За обедом Анна был наступательно весел: он как будто кокетничал с префектом.

Анна любил надевать женское: он был в светлом шелковом с бархатом платье, которое ему сшили в Риме – с открытою грудью и с белым дорогим кружевом на голове, обрамлявшим его лицо с большим верблюжьим носом.

## Глава шестая. Притча во языцех

Иван Матвеевич знал, что во время их встречи Александра Станиславовна была нечиста – еще она выказывала в разговоре уважение к предкам, а потому о беременности не могло быть и речи.

Генерал хотел сына; в Боливии после него осталась неведома зверушка, довольно, впрочем, смышленная, но Муравьев желал иметь полноценного наследника.

Она думала, что он плохо слышит – сама же плохо говорила.

Она произносила «бородатые стены» вместо «седой гранит».

Седой гранит, натурально, был в Петербурге – бородатые же стены встречались в Боливии, где на них сидели бородатые ящерицы; *здесь*, на граните набережных, в белую ночь он видел убеленных предков.

Они вели обыкновенно по (ту) сторонний делу разговор: туманный, приблизительный, субъективный.

Они говорили, впрочем, дозволенное и знакомое, и, если бы Иван Матвеевич услышал незнакомое, то принял бы его наверняка за недозволенное.

«Вам нравится пурпур розы, а мне отблеск камина – от этого никому не тепло!» – до него доносилось.

У мертвых свои рифмы – у живых свои.

*Пурпур розы и отдаленные седых людей угрозы.*

*Отблеск камина – постановление Совмина.*

*Откроешь пушкинскую дверь, в лесу за нею – Пушкин-зверь.*

Пушкин писал иначе и потому ему шили сапоги и для него пекли кулебяки; при жизни он всегда был сыт и обут.

Когда умирает стрекулист, другие стрекулисты не понимают этого и продолжают считать его живым: стрекулисты – вечно живые – одна нога наружу!

Иван Матвеевич мыслил предметно, а для кого-то и сам он был мыслью, разлитой в мировом пространстве и материализовавшейся на берегах Невы.

*Некогда: пусть так!*

В ночном магазине, с той стороны, где продавались бакалейные товары, лежал сыр, слишком большой и чересчур пахучий, чтобы поблизости удобно было спать.

В Институте экспериментальной медицины к жизни научились возвращать сыры с истекшим сроком хранения – их было опасно есть, но можно было установить в спальне в качестве ароматического снотворного.

Продавцы спали мертвым сном.

Зодченко стоял с припухшими от сна веками.

Они заговорили о холодности третьего абонемент – абонемент был для мертвых.

Известное обоим лицо непременно должно было оживить действие.

– Он приезжает, нисходит.

– Он или она?

– Един в двух лицах.

## Глава седьмая. Как мертвые

Зодченко питался святым духом и потому головки сыра ему хватало надолго.

Сыр был овечий и готовился в специальном корыте. Когда муж Александры Станиславовны был жив, Зодченко брал сыр у него напрямую – Шабельский творил чудеса в корыте; когда же его не стало, Зодченко продолжал покупать сыры исключительно *от него*, но уже восстановленные по науке.

Михаил Михайлович считал сыр божественным и буквально на него молился.

Мельник и Пасечник спали, как мертвые и потому ни в каком сыре не нуждались.

Мельник помимо перемола увлекался вышитыми вещами – Пасечник помимо пчел – предметами личной гигиены; еще Пасечник шил сапоги для Пушкина, а Мельник делал для него кулебяки: оба были стрекулисты и не понимали, что Пушкин умер.

«Умер – так лежал бы на кладбище, – они рассуждали, – а поскольку он в мавзолее – значит, вечно живой!»

Вопрос был переворочен, кажется, на все стороны.

Интеллект представляет себе отдельное (Пушкин был отделен), но ясно интеллект представляет себе лишь неподвижное – Пушкин же, с божьей помощью, мог двигаться!

«Отдельные два мира, – вот-вот Мельник и Пасечник должны были постигнуть, – *тот и этот*, соприкасаются ныне в едином пункте, и этот пункт – Пушкин. Через него можно попасть в мир иной, через него же ушедшие *навсегда* могут навестить нас!»

Мельник и Пасечник вошли в храм, где их уже ждали Муравьев и Зодченко.

Все спало вокруг них: ресницы были смяты, щеки в пятнах.

Сумрак и тишина как-то сливались вместе, давая ощутить холодность.

Мужчины ежились, как перед появлением женщины.

Появится Анна, но для чего? Только лишь, чтоб оживить третий абонемент?

– Анна примет форму Карениной, чтобы показать, что *он* не нуждается в описаниях Толстого, – сказал Иван Матвеевич поделщикам.

Все возвышающий обман боролся с низкими истинами, вуалируя действительный смысл. Сыр пахнул гиеной.

Анна, по легенде, приезжал восточным поездом – нужно было боливийским манером хотя бы на некоторое время разлучить его с вещами: Мельник брался.

Пасечнику предстояло сопроводить приехавшего в устричную залу Елисеева. Ближе к ночи Зодченко должен был привезти Анну в гостиницу. Там, в полной форме боливийского генерала, его собирался принять Муравьев-Опоссум.

У стрекулистов – своя религия: понимание никогда не приходит одно.

Одно приходит через другое.

*Другое* появляется внезапно, вызванное чудом.

Отжившее и грядущее складываются в неведомые слова.

## Глава восьмая. Вещи мужа

Калач иногда пахнет так, что не удержишься.

Сапоги делают Пушкина выше.

Шекспир и кулебяки – вещи несовместимые.

Александра Станиславовна Шабельская тонко улыбалась: евангельская гадина злоупотребила словами: гад был очень богат, умен, на пути блестящей клерикальной карьеры и *обл*: обворожительный человек!

На другой день после посещения ее Иваном Матвеевичем, в одиннадцать часов утра Шабельская приехала на вокзал встречать того, кого полагалось, и первое лицо, попавшееся ей там, был Вронский.

Страдавший бессонницей, он покупал у мужа сыр; они были знакомы.

– Встречаю нунция, – объяснил Алексей Кириллович. – А вы?

– Хорошенького молодого человека, – она отшутилась.

Уже свистал паровоз, Вронский блестел глазами, чулки на Александре Станиславовне натянуты были – хоть в Космос.

Вронский пошел за кондуктором и при входе в вагон столкнулся с помятыми ресницами и пятнами на лице молодым человеком, которого взгляд скользнул по его лицу и тотчас перенесся на подходившую толпу: Александра Станиславовна, впрочем, уже подошла – приехавший зажег свет в глазах поярче, чем у Вронского.

– Владимир Борисович? – догадалась Шабельская.

– Александра Станиславовна?! – тоже он понял.

Коренев хорошо доехал, вот только вещи его затерялись, и потому она повезла его к себе – в доме сохранялись вещи мужа.

Когда они отъехали достаточно далеко, вслед за кондуктором в вагон пошел Пасечник – при входе он столкнулся с Анной, которая сразу отказалась ехать к Елисееву и в гостиницу – только домой!

Она была под густым вуалем, но он увидел смятые ресницы и трупные пятна на щеках.

Анна сразу отдала ему багажную квитанцию.

Она спросила, почему не встретил ее муж и как вел себя Сережа.

– Не понимаю, о чем вы спрашиваете, – Пасечник очевидно сбился.

Она легко внушила ему мысль об Алексее Александровиче и сыне.

– Их отдали под стражу до утра, – Пасечник увидел другое.

Анна дико захохотала.

Следом за ними на перрон вынесли мертвое тело.

– Немец, – объяснила Анна. – Он умер в дороге.

За бездыханным телом из вагона вышли Вронский с нунцием.

– Сюда приехали с мертвым, а обратно отбудете с живым?! – отчетливо выговаривая, как рублем даря каждым словом, они обратились к ней.

– Это был каприз испорченного сердца, – умело Анна отвела. – Смерть гораздо чище порока, – особенно она взглянула на Вронского. – В купе было слишком жарко.

– Надеемся увидеть вас в церкви, – сказали они.

## Глава девятая. Нагнал страх

Владимир Борисович Коренев просил по дороге завезти его в синагогу, а после – в устричную залу Елисеева.

– Каприз испорченного желудка! – он объяснил.

Черты лица Владимира Борисовича все были на своих местах, а борода обрита; великоватый нос, впрочем, напоминал о еврее.

«Обрита борода – пропали стены!» – наворачивались строки.

Поэма, впрочем, была еще не написана.

Визит был щедро заплачен; приехавший спрашивал Александру Станиславовну, какому Богу она молится, и та отвечала – Пушкину.

Общаться было легко.

Владимир Борисович видел Вронского, и Александра Станиславовна объяснила, что Алексей Кириллович принял католичество и установил контакт с папским престолом.

Гостю отвели лучшую комнату, в его распоряжение предоставлены были вещи покойного Павла Васильевича – за предметами личной гигиены к Левину был послан человек.

Из аптеки посыльный отчего-то поехал к Карениным и передал Анне Аркадьевне целый мешок покупок.

Первым делом, приняв, наконец, ванну, она воспользовалась патентованным средством для выпрямления ресниц, после чего вывела пятна со щек и в изящной вышиванке вышла к ожидавшим ее мужу и сыну.

Алексей Александрович нисколько не удивился, что Анна возвратилась *другая* (он чувствовал появившуюся в ней холодность) – его религия говорила, что через это *другое* должно было прийти *самое то*.

Сережа был ребенок по опытности и не понимал, что можно умереть и остаться живым; как Бог мыслит вещами и отчего мальчик должен завидовать девочкам, имевшим что-то между собою; не мог взять в толк, с чего это задаются дни, а тысячи фактов нам доказывают противное; главное же, чего он не мог уразуметь, – почему мама пришла по вымощенной дорожке прямоком из сада, а не приехала с вокзала в собственном их экипаже.

Француз-гувернер месье Октав отчего-то называл их сад Садам мучений.

– Кто умер? Пенультиема?! – вздрагивая, спрашивал его отец.

– Никто не умер. Это – женщина из Сада мучений, – выпренок однажды француз ответил.

И тогда вошла мама.

Сережа знал, что она привезет подарки, но в дороге ей подменили чемодан, и оттуда посыпались странно бесстыдные вещи, предметы из розового каучука.

Анна была бледна, ее бескровные губы отвисли, а голос, похожий на предсмертное хрипение, нагнал на Сережу страх.

– Скорей! Скорей! Мама умирает!

Отец и гувернер грубо кивнули.

– Нет, это всегда так бывает, когда она возвращается *оттуда*.

## Глава десятая. Проза жизни

«Пусть Анна спит с французом», – не возражал Каренин.

Сам он спал с Варенькой, а Сережа – с Верой Пановой.

Проза жизни выше нравственности.

## Часть вторая

### Глава первая. Бренное слово

Явления всегда суть показатели того, что само себя не показывает.

Тишина казалась могильною.

Тьма была ровная, сплошная, без времени – и вдруг зажглись солнца разных цветов: бриллиантовое вместе с рубиновым и гранатовое на пару с изумрудным и сапфирным: они горели днем и ночью.

Жара сделалась положительно нестерпимая.

Теснились овцы; верблюды смотрели: игривый пилигрим распарывал живот или вскрывал какой-нибудь череп, пока немец держал за лапку ободранную лисицу или ощипанного филина: проповедник изуверства во имя мистической цели?

Глаза пастухов были удержаны, и они не узнавали Его; *пастух* – бранное слово между мужиками всех времен: этим словом *другого* доведешь скорее, чем иным крепким, приевшимся.

Игривый пилигрим мыслил вещами.

Его лицо заросло волосом, борода вилась космами и закрывала грудь, нос расплылся по лицу и оканчивался плоскою пластиной, рдевшей багровым цветом и тоже покрытой волосами; на нем был жилет с пуговицами в виде головок химер и необъятные шаровары с множеством пышных складок.

Когда немец умер, игривый пилигрим взвалил его бренное тело себе на плечи; дорога сокращалась в разговорах.

Игривый пилигрим вменил себе в обязанность говорить; разговор был живой, хотя и бесвязный.

– Слепые прозревают, а глухие слышат, – говорил несущий. – Радуйся, благодатный! Полуодетая, она показалась мне пикантной!

Несомый задудил вздох и притворился спящим.

Была четвертая неделя Великого поста – во всех храмах Города звонили к часам: двенадцатый праздник приближался с разрешением рыбы, елея и вина.

На городской площади игривый пилигрим на камни положил решето, а на него – немца: пошли чудеса: мертвый воскресал по команде, крутил обруч, прыгал через огонь, ходил на руках, показывал, как неверная жена запрещает своему хахалю произносить слово *любовь*.

– Это – гадкое слово! – тем временем, подтрунивая над кем-то, игривый пилигрим все ниже опускал свою как бы постыдную голову и весь сгибался и падал к ногам толпы – упал бы, не поддержи они его.

– Анна! – простолюдины смеялись, узнавая.

Убийца видел тело, лишенное им жизни.

Надо было резать это тело на куски и прятать его.

– Ни слова больше! – стражники синедриона заломили им руки и потащили.

Мальчик с вопрошающим, *противным* взглядом силился и не мог уяснить себе чувство, которое он должен был иметь к арестованному.

«Кто он такой? Что это значит?!» – спрашивал он человека и девушку.

Их отдали под стражу до утра, ибо уже был вечер.

## Глава вторая. Новый кентавр

Владимир Борисович Коренев и Анна Аркадьевна Каренина ехали в одном вагоне; ресницы их оказались одинаковой длины, а пятна на щеках были одного цвета и сходной конфигурации.

Она читала Шекспира, он ел кулебяки.

Оба пытались ввести в заблуждение кондуктора так, чтобы тот ощутил холодность каждого по отдельности: Каренина ему внушила о сумраке, Коренев – о тишине, но служащий железной дороги все-таки едва не слил их вместе.

Ничто не предвещало до поры появления следователя, и *новые знакомые* вполне свободно общались, стараясь лишь не совпадать контурами, чтобы невзначай не сощелкнуться.

Единственным общим пунктом оказался Пушкин: его страницы были вклеены под шекспировскую обложку книги Анны; в его листы завернуты были кулебяки Владимира Борисовича.

Невольно или вольно в их тайну проник пассажир-немец, скоропостижно после этого скончавшийся (он видел, как Коренев потянулся к книге, а Анна откусила от кулебяки); им было теперь не избежать разговора с судейским, а, значит, следовало сблизить позиции.

– Мы никогда не видели *его* прежде, – тезисно набросала Анна. – Он был коммивояжером – предлагал чепчики, вышитые вещи, предметы личной гигиены.

– Мне, – рассмеялся Коренев, – он предложил женский орган из каучука и еще предметы для Сада мучений.

– Сад мучений? – Каренина повела бровями, – Не там ли умерла Пенультема?

– Она не умирала, – нахмурился Владимир Борисович. – Это происки папы!

– Умирала, но не умерла?

– Только мучилась!

– Проплачено плачущими инопланетянами! – они изобразили в лицах, и за ними подглядывавший кондуктор покрылся пятнами.

– Теперь вы должны думать о красоте ногтей, – Коренев напомнил Анне.

– А вы – написать генералу, – Анна не осталась в долгу.

Анна все же была главная в их тандеме и потому Коренев спросил о велосипеде.

*Велосипедом* они называли мысль, неясно рассеянную в мировом пространстве.

Велосипед Анна брала на себя, но тот в ее представлении сливался с беспокоившим ее боливийским генералом: новый кентавр, свистя колесами, уносился в межпланетные дали.

Анна надеялась, генерал встретит их на вокзале, но он хотел, чтобы она приехала в гостиницу, куда Вронский должен был доставить нунция.

Примешивались стрекулисты и устричная зала.

Владимир Борисович уехал с нанятой дамой; тщетно стрекулисты пытались навязать Анне свое понимание.

Пасечник отвез Анну домой.

Она вошла не с улицы, а через сад.

Сад был из третьего абонементу.

Многое не совпадало.

## Глава третья. Осознанная необходимость

*Судейский – иудейский*: улыбался Пушкин.

Плакали инопланетяне.

Рассеянная в мировом пространстве мысль в себе заключала предмет.

За свойствами и состояниями стояли вещи.

Нам предстояло действовать – действие же требовало точек приложения.

Елисеевский магазин был очевидной точкой притяжения; в бывшей устричной зале оборудовали кулинарный отдел: наряду с винегретом и жареной рыбой широко представлена была пахлава – ее напрямую доставляли из иранского представительства.

От Анны в кулинарию Елисеевского был послан человек, возвратившийся уже на квартиру Шабельской и передавший снедь для Коренева: Владимир Борисович ел и нахваливал, но позже на него накатило: игривый пилигрим явился, засовывал ему палец в рот, вызвал рвоту и едва не отправил туда, откуда Коренев, собственно, прибыл.

– Павел Васильевич, – тем временем госпожа Шабельская, ничего *такого* не заметившая, продолжала говорить о покойном муже, – действительно не любил вышитых вещей оттого именно, что в вышитых узорах ему читались угрожающие послания: из него грозились надевать мясных блюд в ассортименте.

– Солянку, шашлыки? – медленно Коренев возвращался к жизни.

– Сультену, салтеньяс, тукуман, супы чайро и лакуас, – справилась Александра Станиславовна с записями. – Еще лечин-аль-хорно с соусом льяхуа.

– Ну, а предметы личной гигиены? – с чего-то гость заинтересовался.

Уже он знал, что покойный ими не пользовался.

– Ему грозились нанести бактерии на зубную щетку, пропитать грибком мочалку, насытить плесенью полотенце и вымазать вирусом бритву.

Так выходило, дельный человек мог не думать вовсе о красе ногтей: об этом именно в ванной комнате думала Анна Аркадьевна, обследуя обделанный в сафьян дорожных несессер Каренина с вышитой на нем дарственной надписью: *от инопланетян*.

Она думала о Каренине и не думала о Шабельском, но выходило так, что именно она думает о Шабельском и не думает о Каренине.

Инопланетяне мыслят несессерами, осознанная необходимость?!

*Инопланетяне – египтяне*: Пушкин смеялся.

То, о чем думали они вчера, сегодня становилось ложью.

Своими предметами (мыслимыми и немислимыми) запросто они могли извратить мысль (не только рассеять в пространстве, но и заменить составляющую!) и этой возможностью широко пользовались.

Рассеянная в пространстве мысль в себе заключала предмет, и этим предметом был велосипед.

– Давайте все же называть велосипед велосипедом! – в устричной зале договаривались стрекулисты.

Велосипед – сцепление ошибок, заблуждений, грехов и падений.

## Глава четвертая. Настойчивые часы

Неясная мысль уносила боливийского генерала бог знает куда.

«Пушкин – триедин; Пушкин-человек, Пушкин-поэт. Пушкин-зверь. Пушкин-зверь счастлив: сукин-сын!»

Он прибегал иногда к Ивану Матвеевичу вместо Пушкина-человека: визжал, прыгал, лизал Муравьеву руки.

Генерал нюхал пальцы: в самом деле или на словах?!

Пушкин исчезал, но слово оставалось.

Пушкинское, оно порождало другие слова, которые распространяясь, собою подменяли вещи; слова имели вкус, цвет, запах, протяженность и многие неотличимы были от предметов.



Особо озвученные и профессионально расставленные слова-заменители призваны были придать бо́льшую убедительность холодному третьему абонементу.

В этом третьем абонементе, где-то размашистом и ретроградном, местами даже фальшивом и населенном призраками, были обозначены плачущие инопланетяне, галлюциногенный сыр, грохот пушек, теннисное кладбище и главное – Сад мучений.

Во многом третий абонемент противоречил второму и первому – этому именно улыбался Пушкин.

– В голове велосипед, а на дороге мысль! – он смеялся.

У него были самые длинные ногти и, по необходимости, самый большой в столице несесер.

Когда, царапая руль, поэт садился на велосипед, мысль мчалась по дороге, вздымая пыль.

«Толстой не любил Шекспира, – мысль оформлялась. – Ему Чертков пересказал, и Лев Николаевич не принял. Когда Толстой уснул, Чертков влил яд ему в ухо. Чертков не любил Толстого!»

Похожий на тень Бога-отца Толстой задействован был во втором абонементе – об этом поздно было думать, но мысль гения пробивала слой времени.

Анна *читала* Шекспира – во многом его страницы совпадали с пушкинскими, но были различия: сапоги! Пушкина они делали выше, Шекспира принижали.

Едва ли не насильственно Пушкин вкладывал мысль куда было можно и куда нельзя – тяжеловесную и обязательную; шекспирова мысль возникала сама и, воздушная, танцевала на просторе ряда.

Зрителям было тесно: избыточные из первого и второго вытеснялись в недостаточный третий абонемент.

С Анной сидели три дамы: парикмахерская прическа, необычайно тонкая талия и изящная линия платья. Они, вместе взятые, накануне отговаривали ее, но Анна как будто не понимала значения их слов.

– Отчего же не ехать?!

Изящество, красота, элегантность были то самое, что раздражало ее.

– Но *тусклый самовар* и эта *темная лампа*, и *настойчивые часы*! – компаньонки не выдержали.

Своим появлением Анна признала бы свое положение погибшей женщины и бросила вызов свету: тому или этому – какая разница?!

Тусклым самоваром был Вронский, темною лампой – папский нунций.

## Глава пятая. Вызов свету

Нахмуренный вернулся в свой номер.

Дежурство Ивана Матвеевича завершилось, он снял костюм портье.

Он знал, где сейчас Анна и приказал отвезти себя к нему.

«Да нынче что? Третий абонемент...»

В светлом коридоре никого не было, кроме женского голоса, который выговаривал музыкальную фразу.

Поразительно красивый и гордый Анна улыбался в рамке кружев; он не смотрел в его сторону, но Муравьев чувствовал, что Анна уже видел его.

Прическа Анны были смята, линия платья нарушена – в ногах у него лежал нунций, и Вронский безуспешно пытался привести его в чувство.

Иван Матвеевич не понял того, что именно произошло между папистами и Анной, но он понял, что произошло что-то облегчительное для Анны, успешно выдерживавшего взятую на себя роль.

Генерал нюхал пальцы: в самом деле!

Своим *непоявлением* именно Анна признала бы свое положение погибшей женщины – своим же появлением она заставила признать себя ныне здравствующей!

Медленно Вронский исчезал, а папский нунций исчез чуть раньше – портье сидел в служебном номере, и темная лампа, поставленная в незапамятные времена, едва светила в бок допотопного тусклого самовара.

Сумрак бросал вызов свету.

Две мысли боролись.

*Есть вещи, искать которые способен только Толстой, но он никогда их не найдет!*

*Лишь Федор Михайлович способен разыскать предметы, но никогда он не станет их искать!*

Свет шел от Толстого: он искал.

Сумрак – от Федора Михайловича: он скрывал.

Кончалась и начиналась заново индивидуальность: живое существо не представляло более единства и состояло из нескольких.

Накатывало из небытия в бытие.

Собаки снюхивались, дрались и лаялись; Иван Матвеевич занимался, чем было ближе: вещи докладывали о древности своего происхождения.

Знание делает человека шершавым, предметы – гладкими, а вещи – непостижимыми.

Иван Матвеевич *не знал*.

Анна, что ни говори, умел (а) общаться с живыми.

Он, Анна, извлек из себя Коренева.

Но для чего, скажите, нужен был Сад мучений – сам Муравьев превращался в бородатую мысль.

*Ильич иногда пахнет так, что не удержишься! – Мысль разогнавшуюся кто тебе проветрит?! – Не красть Ильичей?!*

## Глава шестая. Священный голос

Вещи снюхивались, дрались и лаялись.

Предметы оставались постоянными, но только пока о них рассуждали.

Чисто идеальный предел виделся лишь двоим: Толстой вместо конкретного протяжения планировал объявить об однородном пространстве; Федор же Михайлович конкретное время собирался заменить механическим.

Постепенно Анна Аркадьевна изменяла направление дьявольской интуиции, и Владимир Борисович послушно от непротяженного переходил к протяженному.

На кухне, интуитивно, он разделял мясо на трепное и кошерное; двенадцать апостольских русских, набранных из подьячих и посадских, выносили тяжелые вещи из гостиной Карениных и заменяли их уютными предметами разных эпох и фасонов.

Предметы и мясо как-то сливались вместе; день был крепко непогодлив – бушевала выюга, а к вечеру усилилась так, что свету божьего вовсе не стало видно.

В тюлевом чепце, с широким рюшем и превысокою тульей, которая торчала на маковке, Анна *приставил* отрезанный ломоть к хлебу, и он прильнул – русские попадали на колени; этому фокусу в незапамятные времена Анну научил пилигрим.

Овцы между ними были среднего разбора, но сыр получался отменный; в доме Шабельской Кореневу постоянно хотелось спать – Владимира Борисовича тянуло нюхать пальцы: между пастырем и пасомыми возникла голова немца: картина была неприятная, сухая и зловещая.

Анна знал: он видел немца, чтобы не видеть игривого пилигрима.

Именно этот немец: Вреде, рассказал ему легенду об Анне Аркадьевне и молодом Вронском. Вреде улыбался, и улыбка передавалась первовнушителю – Вреде задумывался, и первосвященник становился очень серьезен.

«Прекрасный был бал?» – спрашивал неперенный член синедрона, чтобы спросить что-нибудь еще.

«Прелестный», – отвечал немец, демонстрируя сложную фигуру мазурки.

Что-то чуждое, бесовское и прелестное вошло тогда в Анну: блеск глаз и туго натянутые чулки!

В светлом коридоре мужской голос выговаривал именно это: *«Блеск и натянутые!»*

Это был могущественный, священный голос, вещающий слово Божие.

«Ты пришел нарушить наработанные связи?» – тогда спросил Анна игривого пилигрима.

«Логические, причинно-следственные!» – громоподобно Тот отвечал.

Анна дошел до предела: пространство сделалось однородным, а время – механическим.

Однако, нужно было решать судьбу пилигрима.

Вешать на него решительно было нечего.

«Не ты ли назвал Гефсиманский сад Садам мучений?» – Анна нащупывал.

«При всей моей готовности сознаться в неправильности моего поведения и принять ваш взгляд, – учтиво отвечал пилигрим, – я не в состоянии исполнить этого желания уже потому, что не могу уловить вашего взгляда».

## Глава седьмая. Божий дар

Настойчивые часы тянули механическое время.

Всю черновую работу за Анну делал Коренев.

Себе Анна оставила эффектные постановочные сцены, мысли гения и аплодисменты третьего абонементу.

Аплодисменты и мысли сливались в Саду мучений.

Коренев начищал самовар, тер лампу: немец-часовщик появлялся:

– Чего изволите?

Анна прогуливалась по часу; ей приходилось подвязывать каучуковый женский орган – это было мучительно.

«Зима или лето?» – она выбирала по настроению.

– Осень! – немцу приказывал Коренев.

Так было больше шансов на появление Пушкина.

Анна нуждалась в капитальных мыслях.

*Чем меньше Вронского мы любим...*

Приезжая с царицей, Пушкин танцевал в зеркальной беседке.

– Здравствуй, папа! – Анна приседала под благословение.

Божий дар мешался с яичницей.

В зеркалах отражался Вронский.

Настойчивые сады напоминали о расстроенных нервах: Сад мучений смешивался с Гефсиманским, а тот – с коммерческим; месье Октав жег костры из навоза, соломы и всяких отбросов; в дыму бродили тени.

– А для чего нужны тени? – спрашивал маму Сережа.

– Тени заменяют живых людей, – рассеянно отвечала Анна, – когда их нет.

Трель соловья сливалась с криками перепелов; Анне предстояло показаться доктору.

Вера Панова рекомендовала Антона Павловича.

От доктора – какие секреты?!

Чтобы не возбуждать подозрений, Анне пора было спать с гувернером.

Антон Павлович успокоил: самое то – понравится месье французу.  
Едва ли не в последнюю минуту вскинулся Коренев: ни за что!  
Что-то у них оставалось общее, чем Владимир Борисович не мог поступиться.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.